



день. Они звали меня беспрепятственно — и я бывал почти ежедневно у них. Я уже устал от литературы, лениво заглядывал в свои тетради — и закончив давно третью часть «Обрыва», хотел оставить вовсе роман, не дописывая. Однажды я встретил там Стасюлевича, который тогда старался оживить свой учебный журнал беллетристкой и сойтись с Толстым, который готовил, после «Смерти

дышу только, когда покоен. (...) Притом я вкладываю всего себя в свои литературные замыслы и свою жизнь, и близкое, знакомое мне, пишу и страдаю в этой работе, как другие в любви к женщине и других напряженных страстях. Мне никогда не является одно лицо, одно событие, одна сторона, — а всегда целая область той или другой жизни и множество лиц! Ломка страшная, работа мучительная головы, потом нужно

приходилось с ними знакомиться и встречаться — я делал это очень радушно, если находил в них что-нибудь подходящее себе — и теперь там у меня есть приятели! За мной стали усиленно наблюдать, добиваться, что я такое? Либерал? демократ? консерватор? В самом ли деле я религиозен, или жожу в церковь так, чтоб показать... что? кому? (...) Если б еще мою нелюбимость и затворничество от

света приписали моей обломовской лени — я бы ничего не сказал: пусть! Вместо лени поставьте артистическую, созерцательную натуру, способную и склонную жить только своею внутренней жизнью — интересами творчества, деятельностью ума, особенно фантазии, и оттого чуждающуюся многолюдства, толпы: то и была бы правда, особенно если прибавить к ней вышеупомянутую нервозность, робость!

Одна зависть чего стоит! (...) Не этим способом, а новым трудом я хотел бы отличить ее, но лета, повторю, охлаждение и вся эта борьба мешают творческой работе, всему мучительному процессу установления типов в картины, картины в надлежащую рамку и т. д.

(...) Я, впрочем, ничего, ничего больше не желаю, как сидеть покойно, сложа руки — и удивляюсь не мало, что вопросу о том, пишу ли я, или нет, все, с кем ни встретишься, приписывают какую-то важность!

Зачем же с самого начала, или, если не с начала, то с появлением «Обломова», в 1859 году, начались какие-то враждебные подходы под меня? То вдруг цензура запретила какую-нибудь статью в мою пользу, то от меня скроют то или другое благоприятное впечатление, сделанное романом где-нибудь и т. д. А с «Обрывом» это стало еще заметнее! Зачем эта неприязнь, эти шуточки, это надоеданье, вся эта порча моей жизни? С печалью угадываю некоторые причины, к которым поддали повод частью недоразумения на мой счет, частью...

Дело все в том, повторяю, что представители ультраконсервативной партии, в своем слепом усердии к ее интересам, принимали и принимают, кажется, до сих пор мою нелюбимость, мой мечтательно-созерцательный ум, мои творческие заботы, требовавшие покоя, уединения, независимости от сует и «злов дня» — словом, мою нервную, художническую натуру — за какое-то умышленное уклонение от обычных, принятых форм официального порядка нашей русской жизни, за гордость, даже, чего доброго, за непризнание тех или других авторитетов...

Да, правда: в общих понятиях людских совершается что-то странное, почти небывалое, по крайней мере, небывалое в таких размерах!.. Анализ века внес реализм в духовную, моральную, интеллектуальную жизнь, повсюдную и неумолимую по-прежнему явлений в природе — вещей и людей — и силою ума и науки хочет восторжествовать над природой. Все подводится под неумолимый анализ: самые заветные чувства, лучшие высокие стремления, драгоценные тайны и таинства человеческой души — вся деятельность духовной природы, с добродетелями, страстями, мечтами, поэзией, — ко всему прикоснулся грубый анализ науки и опыта. Честь, честность, благородство духа, всякое нравственное изящество — все это из идеалов и добродетелей разжаловывается в практические, почти полицейские руководства. Сентименты — и вообще все доброе или дурное проявления психологической деятельности подводятся под законы, подчиненные нервным рефлексам и т. д.

(...) Человек, жизнь и наука — стали в положении разлада, борьбы друг с другом работа, т. е. борьба, кипит — и что выйдет из этой борьбы — никто не знает! Явные совершаются, мы живем в центре этого вихря, в момент жаркой схватки — и конца ни видеть, ни предвидеть не можем!

(...) Смотрю я на эти ребяческие усилия некоторых писателей — которые хотят подержать — кто высший класс, кто семейный союз, кто религиозное чувство, пишут на эти темы повести и романы. Я удивляюсь не тому, что

# МОЕЙ СТРАСТЬЮ...»

Иоанна», драму «Федора Ивановна». Я сказал Толстому, что у меня есть 3 части романа «Художник Райский», что, кажется, я его не кончу, надоело, а вот посмотреть бы, не годится ли он так как есть, в 3-х частях?

Все трое ухватились за эту мысль — и просили меня прочесть им написанное. Целую неделю все трое, граф, графиня и Стасюлевич, в 2 часа являлись ко мне и уходили в 5. Как они изумились этим трем частям! Как вдруг я вырос в их глазах! Хотя они сдержанно выражали одобрение, но я видел какую-то перемену в отношении ко мне, на меня глядели с каким-то удивлением, иногда шептались что-то, глядя на меня, и я видел, что я произвел хорошее впечатление. А Стасюлевич просто не отходил почти от меня, являлся каждый день — и я обещал поместить роман у него. Все это ободрило меня, и я решил кончить его летом, на водах.

(...) Наконец, в 1863 году, в Киссингене, в Швальбахе, потом в Париже и в Булони, в течение лета, я написал и две последние части, 4-ую и 5-ую, «Обрыва» и, воротясь в Петербург, ретушировал весь роман и дописал недописанный эпилог, т. е. последние главы.

(...) Впечатленные от «Обрыва» было огромное, несмотря на то, что его растаскали по частям. Стасюлевич говорил мне, что «едва наступит 1-е число, как за книжкой «Вестника Европы», с раннего утра, как в булочную (его слова), толпами ходят посланные от подписчиков». Роман мой печатался с января по май включительно, по одной части в каждой книжке. У журнала, как мне с благодарностью заявлял Стасюлевич, цифра подписчиков с 3500 возросла вдруг до 6000.

(...) Обращаясь к «Обрыву».

(...) У меня в этом предполагавшемся конце (который составил бы целую часть, 6-ю) Райский возвращался из-за границы — сначала через Петербург, где встретился бы с Софьей Беловодовой и закончил с ней начатый в 1-й части эпизод, потом поехал бы в деревню, там нашел бы Бабушки, окруженную детьми Марфиньки, наконец предполагалось заключить картинный интимного, семейного быта и трудовой жизни — Тушина и Веры, замужем за ним — с окончательным развитием характеров того и другого.

(...) Я, конечно, не говорил ни слова, да и нечего было говорить — хотя план у меня в голове был нового романа, но я даже его и в программу не набрасывал.

(...) Но это невозможно теперь в мои годы (63): нет свежести, нет даже охоты жить, не только писать, а главное, я утомлен этой борьбой, вниманием в интригу и распутыванием всей этой сети — так что нервы мои совершенно расстроены — и я

некоторое нервное раздражение — и тогда я начинаю писать запоем, месяц, два, три — и каждый день, как садю, зараз, к вечеру, хочу всегда кончить все! И утомлюсь, измучаюсь, и потом, кончив, долго, долго не принимаюсь за перо! Вот отчего я так подолгу пишу свои сочинения!

(...) Нет — я и теперь, при жизни, мало хлопочу о своей литературной репутации, хотя и самолюбив, но как-то странно проявляется мое самолюбие.

Когда вдруг меня одобряют — умно, тонко, приятно — я делаюсь точно пьян от удовольствия, а потом это скоро, как хмель, и проходит. Наступит анализ, сомнения, потом нервы упадут и я впадаю в апатию — и ничего мне не нужно!

(...) Когда замечен был талант — и я, вслед за первым опытом, весь погрузился в свои художественно-литературные планы, — у меня было одно стремление жить уединенно, про себя. Я же с детства, как нервный человек, не любил толпы, шума, новых лиц! Моей мечтой была (не молчалинская, а горацианская) умеренность, кусок независимого хлеба, перо и тесный кружок самых близких приятелей. Это впоследствии называли во мне обломовщиной.

Но более всего любил я перо. Писать было моей страстью. Но я служил — по необходимости (да еще потом цензуром, Господи прости!), ездил вокруг света — и кроме пера, должен был заботиться о добывании содержания! Все это отвлекало меня — от моего пера и от моего угла!

Конечно, ультраконсервативная партия, занимавшая важные посты в администрации, наблюдая и за мной, не могла не видеть, что я — не способен ни увлекаться юношески новизной допьяна крайними идеями прогресса, ни пятиться боязливо от прогресса назад — словом, что я более нормальный по времени человек!

(...) У меня было настолько житейской мудрости и самолюбия тоже, чтобы не лезть туда, куда меня не призывало — ни мое рождение, ни денежные средства. Вон консерваторы хвалят Англию за то, что там-де великий знает свое место — и что это очень хорошо! Лорд — так лорд и есть, все его и признают таким, купец так купец, художник и литератор знают свою среду и проч.

Так я и делал, следовательно, делал хорошо, да к тому же — я и нервозен, робок и мои склонности и вкусы — влекли меня к кабинету и маленькому интимному кружку. Но все это ультраконсервативная партия приняла за другое. Не то за грубость, неуважение к авторитетам, не то за какую-то гордость и желание по этим причинам уклоняться от консерваторов. Но я никогда тоже от аристократии и не уклонялся: упрямо и умышленно — и когда



Книжная графика



Из иллюстраций к произведениям И. А. Гончарова.

Вот такая моя обломовщина! Она есть если не у всех, то у многих писателей, художников, ученых! Граф Лев Толстой, Писемский, гр. Алексей Толстой, Островский — все живут по своим углам, в тесных кружках!

(...) В моей чуткой и нервной, наблюдательной натуре изощрилось это жало анализа, но, однако же, тут рядом ужилось и сердце, и многое другое... За то меня и зовут отсталым: пусть! Я постараюсь «претерпеть до конца!» От анализа, конечно, не укрылись отрицательные стороны, т. е. уродливости, ложь, в тех или других явлениях, в тех или других личностях — и язык не сдерживал себя, выражался — или шуточно, или резко. В то же время я не переставал и благоволять к тем же самым явлениям и лицам, признавая в них положительные, т. е. хорошие стороны.

Но не эти стороны бросаются в глаза, а уродливости, резкости — оттого о первых и молчат, а вторые замечают и говорят о них.

Это встречается на каждом шагу и в других, но за ними не следят, не слушают каждое их слово, оттого им и сходит с рук, а мое каждое слово сужено, взвешено и поставлено в вину. «А само хорошо!» — скажут мне. Знаю лучше других, что во многом очень дурен — и вот еще причина, почему я не навязываю себя обществу!

Но, конечно, наблюдатели сбиты были часто с толку: я впадал в противоречия в их глазах: говорил и против кого или чего-нибудь, и за. И это нередко рядом, тут же. Любил и отталкивал: понятно! Анализ задевал одно, фантазия красила это в другой цвет, а сердце не теряло своих прав. Потом, завтра, и следа не оставалось: все исчезало, как мираж!

(...) Твердой литературной почвы у нас не было, шли на этот путь робко, под страхом, почти случайно. И хорошо еще у кого были средства, тот мог выжидать и заниматься только своим делом, а кто не мог выжидать, тот дробил себя на части! Чего и мне не приходилось делать! Весь век на службе из-за куска хлеба! даже и путешествовал «по казенной надобности» вокруг света: «для обозрения наших североамериканских колоний», сказано было в моем аттестате! До того ли было, что бы собирать тщательно капитал своих мыслей, чувств, наблюдений, опытов и фантазии — и вносить его в строго обдуманные произведения? И все-таки, несмотря на горы и преграды, я успел написать шесть-семь томов! В другой рукописи (моим критикам) я объяснил, отчего я долго писал свои романы: оттого, что, скажу словами Белинского, в них входило столько, «сколько другим стало бы (и стало!) на десять повестей!» Надо еще удивляться, как я мог написать их, несмотря на все препятствия!